

Это звучит парадоксом. Но в этом — огромная правда. Письменное и личное общение были в прошлом не то что глубже или сильнее — они были *нужнее* и поэтому необыкновенно реальны. Даже через почерк приближался человек к другому без всякой хиромантии: в извилинах букв, в ритме слов передавался характер — через движение руки, не замененное отстуканным на машинке шрифтом, общим для десятков и сотен тысяч людей. Я написала выше словечко «почти» (почти совпало с моим). Видя сейчас прошлое глазами своей старости, я вспоминаю, до мельчайших движений чувств, тогдашнее мое восприятие первого читанного и перечитанного письма Гиппиус. Все — близко, все — родное, словно эхом повторенное, сокровенное состояние тогдашней моей двадцатилетней души. А в то же время чуть заметный сквознячок иного, не совсем моего, и отсюда это «почти». Сквознячок веял от совершенства гиппиусовской прозы. В те годы даже от писем, какими обменивалась интеллектуальная часть общества, как бы духом эпохи требовался законченный эстетизм, лишенный всякой манерности или вычура. В духе времени тяга к молчанию, к скрытности, к уменью «выявлять тайное... почти молчанием».

Я чувствовала в законченном эстетизме этих строк — таких дорогих и близких по смыслу — что-то очень верховодящее, высший класс, превосходство, а потому остановившееся, окаменевшее или каменеющее, как и в почерке. Почерк Гиппиус был похож на мой, но в то время как мой, при всей его точной направленности, носил все черточки нервности, нестабильности, поиска, внутренней противоречивости, словно ровная походка человека, идущего по палубе движущегося парохода, Гиппиус всегда писала элегантно-твердым, почти печатно ровным, с густым чернильным нажимом, ювелирно-красивым почерком, неизменным при всяком содержании письма — хвалила или ругала, соглашалась или спорила. В первом же письме передалось мне это устоявшееся в Гиппиус, хотя я ее никогда не видела и не слышала. Огромная полоса жизни — два с половиной года, последовавших за этим письмом, были историей моей безграничной самоотдачи с крохотным, но постоянно растущим уголком сопротивления, пока он не превратился в огромный ком несогласия. Но об этой полосе будет рассказано отдельно, в четвертой книге. А сейчас я вернусь к узловому 1908 году, точнее к его последней трети (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь), когда завязались еще два общения, нити которых перепутались и между собой, а в дальнейшем и с петербургской ниточкой Гиппиус-Мережковских.

7

Еще до получения ответа от Гиппиус я сделала наконец то, что следовало сделать много раньше: пошла окончательно оформляться на курсы Герье, куда была принята студенткой историко-философского факультета. Организован был этот факультет позже всех остальных, и шли туда девушки большей частью из зажиточных семей, обеспеченные и не заботившиеся о «завтрашнем дне». Мне же этот факультет казался единственно важным для человека. Он должен был привести в ясную систему весь хаос моих чтений по философии, дать мне ответ на вопросы о смысле жизни, осветить движение человеческого мышления от древнейшего до нашего времени. Перед канцелярией на стене вывешены были программы и проспекты ближайших лекций и семинаров, и какими они все жгуче интересными показались мне, когда я очутилась наконец перед этой заманчивой стеной! Но судьбе было угодно (выражаясь старым вежливым обо-

ртом речи), чтоб к этой стене я попала не сразу, а через некоторый промежуток времени.

Вход на курсы был с угла Мерзляковского переулка, по небольшой наружной лестнице в несколько ступеней. За входным парадным (старое название наружной двери) шла еще лестница на третий этаж. Я избегала наверх через ступеньки, сжимая в руках документы, а деньги за право учения все еще пряча в ладанке на груди. Возбегала наверх с величайшим счастьем молодости, перед тем как занять свое место в аудитории, полной черных, светлых, рыжих, гладких и вьющихся голов — будущих подружек единственного в жизни людей времени — студенческого. В первые годы Октября вошло в обиход страшное определение: грызть гранит науки. Быть может, оно соответствовало представлению о жесткой крепости науки, которая неискушенному, нетронутому мозгу казалась почти непреодолимой, но даже и в то время оно вызывало протест. А наше старое поколение пришло бы от этой формулы почти в физический ужас. Не зубы, а мозг обтачивался у нас до остроты привычкой к теории, к отвлеченному мышлению — еще с гимназической скамьи. Этот острый мозг тянулся к науке, мог уже входить в науку — как... мне приходит в голову поэтическое сравнение молодых, бессмертных стихов Николая Тихонова, из другой, правда, «оперы», но органически подходящих к случаю:

... Наслышно, как в ночь игла, —
Для иных — чернее чумы,
Для иных — светлее стекла;
Так в Азию входим мы...

В этом тысячи раз по разным поводам повторявшемся в моей памяти, как напев, тихоновском сравнении речь шла о большевистской «игле» — новом, революционном, ленинском откровении, входившем в неподвижный мир полуспящей Азии и пробуждавшем ее народы. Казалось бы, что общего с первым вхождением в науку двадцатилетней молодежи задолго до революции? Но мозг ее был подготовлен войти в науку, он входил в нее остро, разворачивая, пронизывая ее стандарты, прокалывая ее традиции, — и перед молодым, мыслящим, натренированным мозгом мнимый «гранит науки» оказывался мякотью. Так старая школа, старые университеты готовили в истории человечества людей мыслящих, опрокидывавших ее стандарты. Таким кажется мне молодой мозг Ленина в классической гимназии Симбирска. Не этими вершинными точками, разумеется, а только подготовительной натренированностью и жадным стремлением остро входить в предмет — остро входить не как зубы в гранит, а как игла в ночь, — характерен был мозг нашего поколения. Знай я тогда стихи Тихонова (он был в тот год двенадцатилетним мальчуганом), уж наверное я напевала бы их про себя. Но восхождение мое было остановлено на втором этаже.

Между старыми этажами лестничной клетки располагалась довольно большая площадка. И на этой площадке столпились курсистки, что-то разглядывая. Сам старик Герье, чьим именем был назван наш женский университет, был человек консервативный. В мое время только имя его и было известно курсисткам, как, впрочем, и фамилии тех, кто сидел в начальниках. И я не знаю, кто, когда и почему решил — и надо ли было вообще для этого разрешение — ту деятельность на площадке перед третьим этажом, которая невольно и неизбежно останавливала будущих курсисток перед канцелярией курсов. В лестничном простенке была развернута заправская книжная торговля. Над широким прилавком и книжными полками белел печатный

плакат: «Религиозно-философская библиотека». На полках и на прилавке ступенчато расположились книжки типа обычных брошюр с указателем баснословно дешевых цен (копейка, две копейки, пять...) и неожиданными перед входом в «храм науки» названиями. Были тут речи Филарета, размышления восточных «Отцов церкви», жития святых, в том числе святой Мариамены, выдержки из писаний Исаака Сириянина, из писем апостола Павла — в общем, труды теоретиков православия, подобранные, как материал для пропаганды, небольшими брошюрочными порциями.

Хозяин этой книжной лавки находился тут же. Входная дверь внизу все время хлопала, впуская новых и новых посетительниц, а вместе с ними и морозную струю поздней московской осени. На площадке и лестницах стоял почти уличный холод, все мы были в пальто, и сидевший у своих полок человек тоже был в пальто с бархатным осенним воротником. По бархатному воротнику я сразу его узнала — это был вчерашний сосед в церкви, умиленно посмотревший на меня. Так состоялось мое знакомство с издателем и составителем «Религиозно-философской библиотеки» Михаилом Александровичем Новоселовым.

Станным образом память совершенно не сохранила мне его облика. Человек, имевший огромное влияние на мою жизнь, общавшийся со мной полтора года, введший меня в определенный круг тогдашней интеллигенции, ничем — ни глазами, ни даже цветом волос — не запомнился, кроме вот этого воротника, полноты и невысокого роста. Правда, память на лица всю жизнь была у меня очень плоха. Но все же рыжего мальчика Глеба помню и сейчас как живого. И первую свою любовь, худенькую темнокудрую девочку Раю с руками в бородавках, потому что она любила лягушек, брала их в руки и засовывала себе в кармашки — а поэтому казалась мне загадочной, как из сказки, — я тоже ясно представляю себе сейчас, хотя мне было в пору наших встреч на «кругу» бульвара против Петровской больницы всего четыре года. Но Михаила Новоселова вспомнить совершенно не могу, словно это странное круглое белое лицо без черт, без глаз, как в фильме Ингмара Бергмана «Земляничная поляна». И больше того — я не удосужилась в те месяцы близкого общения, даже познакомившись с его матерью, узнать или услышать от его близких, какого он «роду-племени» если не в буквальном, то в общественном смысле — откуда, из какой партии или мировоззрения вышел, кем был и кем стал. Только сейчас, готовясь к третьей книжке воспоминаний, я открыла для себя Новоселова, но об этом позже. Здесь нужно мне покаяться перед читателем: в одной из своих последних книг, вспомнив встречу с Новоселовым, я по ходу рассказа должна была коснуться и его внешности — и слегка сфантазировала, сделав его похожим на Пиквика. Но это было воображаемое, придуманное сходство. На самом деле, как вот сейчас, из всех сил напрягая память, я не могу вспомнить ни его лица, ни даже его голоса.

Не знаю, какой мелкий бес толкнул меня остановиться тогда на площадке возле книжных полок, совсем не заманчивых. Может быть, мелкий бес стадности или, еще хуже, особой опасной уступчивости. Мне кажется, человек теряет чувство внутренней свободы только от одной-единственной вещи — от фальши. Если фальшь происходит даже помимо его желанья, но он ей не противится, допускает ее вместо объективной реальности отношений, он утрачивает драгоценное чувство хозяина над собственной своей личностью. Поэтому, если в потере внешней свободы человек уступает внешней силе, то в потере внутренней всегда и только виноват он сам, потому что уступает своей собственной внутренней слабости. Новоселов

видел меня в церкви у всенощной — молоденькую, верующую, дважды тихонько подбегавшую под благословенье, и, естественно, вообразил церковницей. А я никогда не была церковницей, никогда не думала о церкви, не нуждалась в ней и выросла вне ее.

Отец, атеист, не позволял нас с сестрой водить в церковь, и мы никогда не были в детстве в армянской церкви. Чтоб получить аттестат зрелости по окончании гимназии, надо было сдать среди прочих предметов обязательный закон божий; но инаковерующие приносили из дому свидетельства о «сдаче» от своих священников — немки от пастора, еврейки от раввина, а мы, армянки, от нашего армянского священника Попова, персоны значительной и уважаемой среди московских армян. Он ездил к нам только раз в неделю, по воскресеньям, еще когда мы были в младших классах. Крупный, благообразный, в шуршащей шелковой рясе, с холеными пухловатыми руками, пахнущими туалетным мылом, он сморкался в большой белый платок, от которого несло морозом, и преподавал с увлечением. От него осталось у нас уважение к армянским буквам, писать которые было все равно что рисовать или чертить, с несколькими ч, ц, дз, тз, тц, дц. Упирая язык в небо, мы с трудом усваивали разницу между ними. А бархатистый бас Попова любовно поучал о больших достоинствах древнего армянского языка «грапара» (соответствовавшего церковнославянскому), его точности, его преимуществах перед «ашхарапаром», современным литературным языком Армении. Эти красивые басистые рассуждения да старательно заученная молитва «Хайр мэр» («Отче наш») — вот все, что осталось от его уроков, да еще свидетельство, что мы «сдали», приложенное к выпускным отметкам.

Церковь была для нас скорей предметом архитектуры, образом особого здания, чем духовным понятием; и с ней я никогда не связывала своего религиозного чувства, жившего во мне подобно природным потребностям в еде, пище, движении, ритме и музыке. Зашла я в тот вечер в церковь, как на протяжении долгой жизни заходила и позже в нее, именно как в здание, из охоты побыть с людьми, стоящими вместе, локоть к локтю. И самым естественным было бы для такой, как я есть, послать Новоселову улыбку узнанья, ничего не значащую, и пробежать наверх не останавливаясь. Тогда не возникло бы того длительного фальшивого отношения, в котором виновата была единственно я сама, — виновата в собственной фальши, да еще не простой, а с ее долгими, ненужными, съедавшими время отрезками. Чтоб отчасти оправдать себя в собственных глазах за сделанную фальшь и вернуть утраченное чувство внутренней свободы, я почти год изо всех сил старалась действительно заинтересоваться «отцами восточной церкви», сущностью православия, его значением для русской культуры, русских писателей и особенными путями развития «православной Руси» в ее отличии от «пагубных западных церквей».

Итак, я не побежала наверх, не послала человеку у книжного прилавка ни к чему не обязывающую вежливую улыбку. Вместо этого я остановилась на площадке и стала покорно отвечать на вопросы, чувствуя себя уступающей, уступающей, теряющей свободу, точь-в-точь как в детстве перед девочкой Верой К., требовавшей, чтоб я поклонилась ей из зеркального окна бельэтажа нашей мнимой квартиры. Сперва это были вопросы, как зовут, какой национальности, какой веры, что именно выбрала слушать на курсах, знаю ли философию Макария Египетского, знакома ли с речами Филарета, с житием моей «одноименницы» святой Мариамны (я была крещена Марианной), не хочу ли заглянуть в них. Потом осторожный вопрос, как я отношусь к бывшему террористу Льву Тихомирову, пришед-

шему, во спасение его души, к матери-церкви? (То есть не из революционерок ли я сама? А я в то время и понятия не имела, кто такой Лев Тихомиров, да и сейчас не знаю, был ли он жив в те дни...) Постепенно в руках моих скопилось несколько десятков брошюр, и на испуганное уверенье, что денег не хватит, Новоселов только улыбался. Мимо нас бежали напуганные «философички», тоже на секунду останавливаясь. Когда я наконец двинулась наверх, неся обеими руками свою книжную ношу, меня с завистью окликнула одна из них: «Во-от сколько накупили!» А я получила их все даром. В подарок!

Новоселов стал приходить к нам в гости. Сперва его несколько шокировала мадам Феррари: она его встретила как раз после принятия своего «лекарства», с рычащей собачкой у подولا, с повязанной полотенцем наподобие чалмы только что вымытой головой. Потом он умилился нашей каюте, нашей «апостольской» бедности. Из-за своей полноты, раздвигая дверь, он втискивался к нам бочком, и если не заставлял нас, то на тумбочке как-то очень скромно, на самом краешке, было оставляемо очередное подношение. У Елисеева тогда продавали деликатесы — греческие маслины или крымский, пересыпанный мелкими пробочными опилками виноград в белых картонных коробках. Так вот, белела в уголку, непременно початая, белая картоночка. Или, тоже вскрытая, длинная плоская цветная коробка с финиками от «Яни Панайота» — был в Москве такой румынский или греческий магазинчик. При встрече, непременно ласковым голосом, объяснялось, что вот были у матери гости или ездил третьего дня к старцу в Оптину пустынь, захватил божью пищу — маслин, — а съесть не успел.

Но главным подношением были письма. Новоселов не просто писал эти письма. Он начинал издавека, с апостольских времен, или поближе — с века «отцов» и Симеона Столпника. Наследие «отцов» он обычно препарирует добрыми словами о моей жажде научиться и приобщиться, о моем редком даре чистоты и смирения, а вот такой-то отец церкви обращает свою духоносную речь именно к такой жаждущей душе, как моя, — и вслед за этим следует длинейшая цитата из Макария Египетского, из посланий апостола Павла или Исаака Сириянина. Разумеется, это письменное общение падает уже на 1909 год. Когда мы с сестрой уезжали на побывку к матери, письма шли в Нахичевань-на-Дону.

Я приведу несколько отрывков из этих писем. Новоселов цитировал восточных отцов из первого тома «Добротолюбия», из газеты «Церковные ведомости»; апостола Павла — из Евангелия, издававшегося тогда с апокалипсисом, посланиями, псалтырем. Разворачиваю пожелтевшие страницы из тетрадок в клетку, сплошь исписанные его энергичным крупно-буквенным почерком с легким наклоном влево, — и вся смесь чувств, с какими они тогда прочитывались мной, поднимается, как тошнота, к горлу:

«Вышний Волочок Тверск. губ. 21/6 1909.

...«Как и почему извратился спасительный путь внутренне-альфного богопознания?» Вот как отвечает на этот вопрос предсказанный Макарий Египетский:

«К нему (просто) нашло доступ и побеседовало с ним лукавое слово: Адам сначала принял его внешним слухом, потом она проникла в сердце его и обьяла все его существо... Со времени Адамова преступления душевные помыслы, отторгшись от любви Божией, рассеялись в веке сем и смешались с помыслами вещественными и земными... Зло до того возросло в людях, что помыслили, будто бы нет Бога... Были праздные мудрецы в мире: одни из них показали свое превосходство в любомудрии, другие удивляли упражнением в софистике, иные показали силу в витийстве, иные были грамматиками и стихотворцами и писали по принятым пра-

вилам истории. Были и разные художники, упражнявшиеся в мирских искусствах. И все они, обладаемые поселившимся внутри их змием и не сознавая живущего в них греха, сделали пленниками и рабами лукавой силы и никакой не получили пользы от своего знания и искусства»...

Вся культура от лукавого! Платон, Гомер, Леонардо да Винчи, Бетховен, Гегель, Гёте, Пушкин были одержимы змием-дьяволом, и все созданное ими не принесло пользы ни им самим, ни человечеству. А что принесло пользу? Стояние в столпе? Созерцание своего пупа? Читатель, уже знакомый с моей молодостью по воспоминаниям, дивится, наверное, как я могла всерьез заниматься таким мракобесием. А я еще и не тем занималась. Макарий по сравнению с Исааком Сириянином был еще либералом. Что-то человеческое проглядывало в его грозном перечислении любомудров, витийцев, грамматиков и разных стихотворцев. Даже синтаксис напомнил мне отчасти вступление Ломоносова к его грамматике, читанное нам в гимназии нашим вдохновенным Иваном Никаноровичем. Исаак Сириянин был строже. Цитаты из него пестрели в письмах Новоселова, а самой первой была такая:

«Как невозможно переплыть большое море без корабля и лагу, так никто не может без страха достигнуть любви. Смердное море между нами и мысленным раем можем перейти только на лаге покаяния, на которой есть гребцы страха. Но если сии гребцы страха не правят кораблем покаяния, на котором по морю мира сего приходим к Богу, то утопаем в этом смердном море. Покаяние есть корабль, а страх — его кормчий, любовь же — божественная пристань. Поэтому страх вводит нас на корабль покаяния, перевозит по смердному морю жизни и путеводит к божественной пристани...»

Страх, по Сириянину, — путь к богу. Хотя слово «любовь» сложилось восточными отцами чуть ли не в каждой фразе, но путь к этой божьей любви лежал через страх и страхом заполнены «ладьи» и «корабли», везущие через «смердное море», а это смердное море — человеческая жизнь, творчество, борьба, культура, познание. Страх божий оказывался сильнее любви, страх божий был условием спасения, — и темные полотна византийских икон я начинала понимать лучше и яснее через эту «идеологию страха». А на Западе солнечные фрески Фра Беато, дивные жанровые сценки эпохи кваттроценти, где святой Иосиф мирно орудует рубанком, маленький Христос таскает щепки, Мария, склонивши голову, пьет. Каждая церковная идеология отразилась в своей религиозной живописи. Да, я возилась со всем этим, и уже не лицемерно, не для того, чтоб искупить свою фальшь, с которой остановилась у прилавка Новоселова. Именно «натренированный мозг», привычная любознательность, мысль — «неслышно, как в ночь игла» — остро входила в материал, постулавший ко мне для «поучений», а читавшийся мной для исследования.

Как я выше уже призналась, еще задолго до курсов, часами сидя под зеленым абажуром тогдашней Румянцевской библиотеки, я переписывала в свои голубые ученические тетрадки католические «Жития святых» — огромные томища Acta Sanctorum. Мне нравилась средневековая латынь, нравилась ее музыка, напоминавшая Баха: еще не мелодичная итальянская речь, но уже не выжженно-сухой, окаменелый латинский классицизм, — еще не мелодия Моцарта, но уже не суровое церковное песнопение. Я чувствовала движение в этой «испорченной» латыни — движение к будущему, к рыцарским романам, канцонеттам, разветвлению на французский, итальянский. С наслаждением наизусть выучила поэтичную страничку из «Исповеди» Августина Блаженного, и кусочек из нее был взят мной как

эпиграф в самой ранней книге моих стихов, вышедших в 1909 году («Первые встречи». Москва). Правда, средневековую латынь я почти не знала, а старинный русский, на который были переведены восточные «Отцы церкви», изучала, как и церковнославянский, еще в гимназии, но все-таки можно было сравнивать, и я сравнивала. Не строение синтаксиса, не устаревшие, вышедшие из обихода слова, не громоздкие эпитеты и выраженья, заимствованные из Библии, а что-то другое вне их, сквозь них, над ними — некую направленность языка, одного из орудий мысли.

Когда, например, я читала у Августина. «Cum vero etiam de coelis te laudant, laudant te, Deus noster, in excelcīs omnes angeli tui, omnes virtutes tuae, sol et luna, omnes stellae et lumen, coeli coelorum, et aquae, quae super coelos sunt, laudant numen tuum...»², то выражение «небо небес и воды, которые над небом суть, хвалят имя твое» не казалось мне архаическим. Наоборот, в нем виделось что-то из поэзии будущего, из Вильяма Блейка, например. А вот при чтении Сириянина: «Но если сии гребцы страха не правят кораблем покаяния, на котором по морю мира сего приходим к Богу, то утопаем в этом смрадном море», — тоже припоминалась поэзия, но другого типа. Блейк был революционер мысли, образа, душевной настроенности. Как я уже написала выше, одно из его странных и, казалось бы, далеких стихотворений стало гимном нынешнего английского рабочего класса³. А мрачные строки Сириянина по своему словарю напоминают стихи Хомякова, дух и фразеологию славянофильских идеологов, они — реакционны. Они были реакционными даже для своего времени, при всей их критике «смрадного моря».

Пока я возилась с книжками Новоселова, пропуская лекции на курсах, Лина прилежно посещала их. Она выбрала исторический факультет. Она тоже сразу же увлеклась превосходными лекциями Дмитрия Моисеевича Петрушевского по средневековому землепользованию. Вечером, сходясь у чашек с кипятком (заварного чая не было), мы делились своим «рабочим днем», и она могла увлекательно рассказывать о разнообразных «прекариях», формах этого землепользования, аппетитно, словно сахар грызя, произнося свои «*precaria data*» и «*precaria oblata*»⁴. Но описывая их, она всякий раз ухитрялась, словно стеклянную крышку сдвигала с них, знакомить меня с сидевшими внутри этих латинских ячеек живыми средневековыми крестьянами, землепашцами; то военными рабами, то полу- или целиком закрепленными, то постепенно становившимися рабами — в бесконечном разнообразии своих обязанностей, не меньшем, чем средневековый рабочий в своих цехах. Лина имела удивительный дар под каждой отвлеченной вещью, под каждым термином видеть живого человека. А если речь шла о современности, об окружавших нас людях, она очень живо разгадывала их характеры, запоминала мимику, говор, любимые словечки и выраженья и передавала это мне в разговоре. Я всегда чувствовала скрытую ее заботу заменить мой падающий слух передачей всего того, что я не могла услышать сама. Все вокруг нее, и сама она, дышало простым человеческим оживленьем и свежей, как горный воздух, внутренней свободой, утрачен-

² «С небес тебя хвалят, хвалят тебя, господь наш, все ангелы твои, все добродетели твои, солнце и луна, все звезды и свет, небо небес, и воды, что за небом суть, хвалят имя твое...»

³ Из предисловия Макса Плаумена к английскому изданию Блейка в серии Everyman's Library № 792. «Blake's Poems and Prophecies».

⁴ «*Precaria data*» — когда по просьбе кого-нибудь землевладелец выдает ему участок земли с правом отнять его в любое время; «*precaria oblata*» — когда владелец маленького участка передает его крупному владельцу и взамен утраты земли получает покровительство и помощь.

ной мною самой, барахтавшейся в надуманных, неверных отношениях с Новоселовым. Дело дошло до того, что я как-то с пафосом принялась говорить ей о превосходстве православной церкви над западными церквями, о народности ее служб, о простоте ее быта, о глубине ее проникновения в грешную душу человеческую и о спасении этой грешной души путем...

— Да не перейти ли мне в православие из армяно-грегорианства, которое, в сущности, мы совершенно не знаем?

У Лины было прирожденное свойство никогда не накидываться в споре на противника и совершенно ничему не удивляться, о чем бы ей вдруг ни объявили. Она спокойно ответила, хотя я чувствовала, как она содрогнулась внутренне при этой моей фразе:

— А ты не обратила внимания на особенность сектантства в православии? По-моему, наши православные секты как-то антиобщественны, то есть изолированы, оторваны от истории, — одно хлыстовство чего стоит! А прыгуны! Я не изучала, но даже на простой взгляд видно. И какое в православии подчиненье, поддержка правительства, шли во главе карателей, взяли у Христа не лучшее, не передовое, а вот эту власть от бога, кесарево кесарю. Смиреномудрие. А если сопротивление, то какой кавардак из-за неслыханной ерунды — двоеперстия или троеперстия, подумай только! Где тут социальная идея? Где хотя бы народность? И такое же изуверство, как в католичестве. Помнишь — у Достоевского рассказ о девушке, старике и молодом жильце, полюбившем девушку? Старик сектант, изувер, страшное изуверство, власть над слабой душой. Иезуитизм, вывернутый наизнанку...

Лина моя задумалась — это был ее любимый у Достоевского рассказ, потому что нигде у него, как она говорила, не было такого изумительного чутья краски, такой живописности, как в этом рассказе: хотя бы описание голубого салопы у девушки в церкви. А я, мгновенно сливаясь с ходом ее мысли, как это всегда у нас делалось, схватилась за идею о сектах, чтоб судить о церквях по характеру их сект, о яблоне — по яблокам. Смирение — даже у духовников, близких к толстовству; социальный формализм, вообще — гипертрофия формы: скопцы, прыгуны, хлысты, старообрядцы — особенно старообрядцы, не скрывающие своей сути даже в самом названии, — главная секта православия. Узел связи между сообщниками — не столько идея, сколько форма.

У нас в то время еще не родилось словечко «формализм» в его теперешнем порицающем смысле — разве что в отношении чиновников и соблюдения одежды по чину, — и сейчас, когда я додумываю наш с Линой разговор, — в самом деле, какой был жуткий формализм в старой, допетровской русской истории, в русском сектантстве: бороды, боярское рассаживание за столом, местничество, складывание пальцев — двумя или тремя... Да не затопчут ли за такие мысли как за вольнодумство? А какое это слово, наше, русское, наверно с немецкого переведенное, но получившее совсем неожиданное, совсем обратный оттенок... «Вольнодумство». Нет! С немецкого у нас правильной переведено: «свободомыслие», и это хорошее слово, в похвалу. Кто же и когда пустил в оборот это жуткое, полицейское, осудительное, с обещаньем не оставить без последствий, ни в одном языке с таким оттенком не прижившееся слово «вольнодумство»?

Ухватясь за мысль о сектах, я немедленно засела в Румянцевке за пыльные тома теологии, за историю Византии, историю церкви, русские «Святцы», православных «Отцов церкви», «Добротолубие». Погрузившись в книги заинтересованным, сравнивающим, вольнодумным своим юношеским мозгом, я совсем забыла о жизни сердца,

верней, вдруг почувствовала в том месте, где была восторженная, открытая всем лучшим человеческим чувствам теплота любви к людям, полное какое-то равнодушие. Куда ушла эта любовь к «малым сим»? Жажда борьбы за лучшее будущее для них, для тех, кто трудится, кто обездолен на земле? Та самая теплота любви, согревавшая сердце, дававшая смысл жизни, которая и толкнула меня засесть за «Добротолубие», за чтение тех, кто взял монополию на исцеление души человеческой. Не было ни добра, ни любви в том, что я читала. Сердце оцепенело во мне, как мертвеет иной раз бабочка на цветке, ящерица на сухом камне.

Очнувшись от теологических раздумий и почувствовав вдруг это странное оцепенение сердца, я с ужасом вспомнила, что еще до разговора с Линой, в один из приступов своего подчиненья Новоселову, я послала ему письмо... послала письмо очертя голову, где все та же чудовищная фраза о переходе из армяно-грегорианства, которое так мало знаю, в православие, которое, как я узнала, такое «близкое народу», такое «простое в быту», такую дает людям душевную помощь и умирение, когда тяжела, непосильна ноша народная... Вспомнив об этом письме, я чуть ли не рассыпала все теологические тома, кирпичами высившиеся по обе стороны моего стола в библиотеке, — до того судорожно вскочила с места. Что я наделала! Забыла! И не опровергла тотчас следующим письмом! А возмездие ждало меня, возмездием было ответное письмо Новоселова, пересланное мамой из Нахичевани-на-Дону, куда мы с сестрой чуть запоздали выехать.

Новоселов писал мне (ужас и конфуз!):

«4 июля 1909. День свв. Ангрия, еп. Критского и Марфы. Ваши. Со слезами радости, хотя и не без тревоги, прочитал я сейчас горючие строки Вашего письма. Дорогая моя, хорошая! Забудьте все, Петербург, Москву, нас и устремитесь вниманием туда, куда зовет Вас Господь! Время ли говорить о городах и об отдельных людях, когда сердце почувствовало так ясно призыв на вечерню Господню?!»

И дальше все шло до конечных слов «молитесь обо мне», — это мне молиться о других, когда фальшь отношений, как мутная вода, поднялась к самому горлу, превратившись в фальшь к самой себе, в оболганье себя, оболганье всего лучшего в себе, но: было ли вообще это лучшее во мне или просто безответственная путаница темпераментной девчонки, не знающей, куда деть избыток своей энергии?

(Продолжение следует)



МАРИЭТТА ШАГИНЯН

★

ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ*

Воспоминания

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ДОМ ФЕРРАРИ

8

Письмо Новоселова, принесшее ужас и конфуз в первую минуту, имело и хорошую сторону — ушата холодной воды на голову. Оно — не сразу, правда, а через несколько часов — принесло мне суровое отрезвление. Оставшись совсем одна в нашей каютке, где мы уже начали укладываться, чтоб ехать на каникулы к матери, я уселась на кровати и решила разложить себя самое по кусочкам — что я такое, с чем сейчас могу прийти, скажем, к смерти или к экзамену, к суду над собой; что движет моими поступками — и, главное, почему, при всей способности обдумывать, исследовать книги, людей, прошлое, я сама веду себя совершенно импульсивно, вне разума, и поступки мои — необдуманны? Это был очень сложный и безжалостный экзамен, шедший сперва от легкого, внешнего, фактического все глубже, в самую серединку разрезаемого «нутра».

Внешне, фактически, — в конце 1908 и первую половину 1909 года, — сплелось у меня множество отношений и перипетий, и чтоб их все вынести, нужна была та удивительная протяженность времени в юности (его хватало на множество дел!) и та невероятная, бьющая из меня просто гидравлически, не подавляемая никакой усталостью энергия, которой с избытком не только на все хватало, но даже как-то перехватывало, перехлестывало, совершенно не впуская усталость в душу. Если собрать воедино все нити, то за это время, хоть и с пропусками, шла моя учеба на Высших курсах; образовался там свой круг тем, нашелся умный многолетний руководитель, профессор Николай Дмитриевич Виноградов. Он был последователем философа Давида Юма, но куда шире, толерантней, объемней обычных юмистов. Я слушала на курсах логику и психологию Челпанова, посещала семинары Густава Густавовича Шпета, Николая Ивановича Радцига. Вообще вела довольно нормальную студенческую жизнь. Такой была первая ниточка. Вторую тянула необходимость заработка. Мы давали с сестрой уроки, я брала переписку (переписывала от руки), а кроме того, писала множество статей в ростовскую газету «Приазовский край», одним из директоров которой был мой дядя. Третьей ниточкой сделалось очень много времени берущее

* Окончание. Начало см. «Новый мир», 1971, № 4; 1972, №№ 1, 2; №№ 4, 5, с. г.

взаимоотношение с Новоселовым и его кружком. Четвертой — участвовавшая переписка с Зинаидой Гиппиус, звавшей меня пере- ехать в Петербург. Пятая была — посещение «вторников» Литературно-художественного кружка, знакомство и дружба с Ходасевичем; и вытянувшаяся из этой пятой, очень важная, очень много сил и сердца отнявшая, много творческой энергии потребовавшая шестая нить: кратковременный — павший на конец декабря — роман в письмах с Борисом Николаевичем Бугаевым (Андреем Белым), перешедший впоследствии в дружбу.

На каждое из этих внешних событий можно было отдать годы жизни и всю свою энергию, а я ухитрялась изживать их все вместе за короткое время, в возрасте двадцати и только-только исполнившегося двадцати первого года жизни. И каждому отдавала чуть ли не всю свою душу. В последней подглавке я расскажу подробно об отношении с Андреем Белым. Оно, как и все предыдущее, не осталось изолированным, его связала с остальными и общность людей, участвовавших в ходе моей жизни, и религиозная тема, и тот простой факт, что все они знали друг о друге и о том, что происходит во мне, потому что я этим делилась в письмах, беседах, сомнениях и планах, изживавшихся нами сообща. Стоило, например, моей переписке с Гиппиус дойти до поворотной точки, когда нужно было или ехать, или не ехать в Петербург, как группа Новоселова тотчас же прислала мне советчика, Павла Флоренского. Пришел в гости сухощавый, невысокий, неприятный человек с армянским носом (наполовину армянин, родом из закавказского городка Евлаха), с жестко-обтянутыми скулами аскета, но с полными губами, складывающимися в кривую усмешку, смотревший не прямо в глаза, а как бы из вежливости или не вежливости в сторону от вас. Начал разговор прямо: известно ли вам?.. знаю ли, куда, к кому собралась ехать?.. «не секрет для читающей публики, что Зинаида Гиппиус — особа извращенной морали, опасная для молодых девушек». Тут он как-то заерзал на стуле, достал блокнотик, карандаш в серебряной оправе, написал что-то на листочке, оторвал его и, глядя совсем в сторону, с кривой усмешкой протянул мне. На листочке стояло только одно слово, греческое. Этого слова и его смысла я вовсе не знала. И совсем не знала, что ему ответить. А он загробным голосом изрек «подумайте!» и удалился с той же кривой поспешностью, с какой пришел... Вопрос моего личного, моего духовного выбора — ехать или не ехать в Петербург — стал в группе Новоселова как будто уже не моим, а общим.

Таков был фактический фон сложных нитей и переплетений, в которых я очутилась. Но за фактическим фоном нужно было понять для себя более глубокую вещь. Случайны ли ниточки, запутавшие меня, как стреноженную лошадь? Не сложились ли все они просто потому, что я ничему не сопротивлялась и хваталась от молодой жадности за каждую встречу, нужную и ненужную, вроде той самой безрассудной птицы, которая в детской прибаутке «скачет весело по тропинке бедствий, не предвидя от сего никаких последствий»? Я оскорбила бы себя и свой духовный мир, если б это было так. Нет, во всей сложности, выпавшей мне на долю, ничего случайного не было. Сейчас я вижу это с ясностью историка, объективно. А в те дни я переживала всю совокупность своих «ниточек» как судьбу, как нечто, данное мне, подобно сказочному витязю на перепутье трех дорог, на выбор для всей последующей жизни: налево, направо, прямо. И может быть — испробовать каждый путь для акта познания и проверки, чтоб выбор не стал слепым, а зрячим.

Время, о котором я сейчас вспоминаю, было от меня и от тех, с кем приходилось общаться, сокрыто искусственными кулисами того

небольшого круга или части общества, где мы находились. Если взять кружок Новоселова, то там были интересные люди. Тот же Флоренский — вне своей миссии «вразумить меня» — был талантливейшим математиком и в первые годы революции даже притянут в числе других крупных специалистов к работе над планом ГОЭЛРО. Мешковатый и молчаливый Кожевников подарил мне два тома «Философии общего дела» Федорова, где были удивительные статьи, близкие к тому, что мы сейчас знаем о Циолковском, статьи, далеко глядящие вперед: о засорении природы, о необходимости спасать леса, воду и воздух, о губительном влиянии войн не только на психику, но и на климат, на метеорологию, на флору и фауну; и еще много такого (среди шелухи наивностей), сверкавшего чистой мыслью на человеческую пользу. По ночам и между лекциями я увлекалась этим чтением. И еще был в окружении Новоселова, среди философов Воляжского и далекого (не то под арестом, не то в ссылке, но необыкновенно почитаемого) Николая Бердяева, еще один, удивительно милый и мягкий человек, Сергей Николаевич Булгаков. К Булгакову, к его мимозовой какой-то недотрагиваемости, травмируемости, когда возникал спор о религии, я питала слабость. Он казался мне умнее и тоньше всех остальных в этой группе, которую наш старый друг, студент Амиров, постепенно становившийся крепколобым меньшевиком, постоянно звал «клубом ренегатов».

Еще до того, как затеять свой самоанализ, я кинулась за советом и помощью именно к Булгакову. Бог весть что было в моем взбудораженном письме к нему — скачок в необдуманность, и как быть, и — самое главное: чем больше погружаюсь в догмы, в изучение восточной церкви, тем больше теряю самое главное, что привлекло меня к религии, к мысли о церкви, — теряю любовное чувство самоотдачи народу, желание борьбы за лучшее будущее для него, ту расширяющую теплоту, то громадное, устойчивое счастье, которое дается в любви к ближнему своему, в любви к массе народной. Я писала искренно, покаянно, отчаянно, с мольбой о помощи. И пришел, правда не сразу, длинный ответ. Я помещаю его здесь (правда, с небольшими купюрами), как и вообще часто прибегаю к письмам из моего огромного архива тех лет, потому что дело идет об исторических людях, и ценна для понимания той очень важной эпохи в жизни русской интеллигенции, о которой идет сейчас речь, каждая черточка, любой штришок, добавляющий что-то к портрету живого лица. Бывший марксист, Сергей Николаевич Булгаков как-то сказал мне в беседе: «А вы никогда не увлекались «Капиталом» Маркса? Я прошел через это, там многое способно увлечь». О «Капитале» Маркса я ровно ничего не знала, кроме высокомерной фразы студента Амирова, что «все вы, жалкие интеллигентщишки, живете на прибавочную ценность». Так вот этот самый Булгаков, ренегат, перешедший из марксизма в православие, Булгаков, с которым в числе прочих уничтожающе полемизировал Ленин, писал мне в своем длинном письме:

«Кореиз, 28 июня, 09.

Дорогая Маризетта Сергеевна!

Ваше — такое милое, хотя и такое грустное письмо я получил в такое время, когда по обстоятельствам чисто личным, но, как чаще всего бывает, наиболее могучим (и очень простым — серьезная и тяжелая болезнь ребенка), я не мог найти духовного госуда, чтобы сосредоточиться и написать Вам. Но много и нежно думал о Вас, хотя... и ничего не придумал. Если бы я был около Вас, может быть, сумел бы пожать Вас и приласкать так, чтобы Вы почувствовали это, а на письме не умею. Я не умею вообще писать писем и не люблю класть на бумагу самых тонких и интимных чувств.

Над Вашей душой пронесся ураган, по-видимому первый, который смыл ее нетро-

нутость. Откуда он и в чем, Вы и сами не можете разобрать, и я разбирать сейчас не стану. Я никогда (кроме, м. б., самого раннего детства) не имел такой чистой и нетрадиционной души, открытой Богу, как Вы, рано отравился атеизмом, и все мои кризисы носили существенно иной характер. Выражу Вам только свое полное и даже какое-то покрывное неверие в то, что Вам этот кризис окажется переносным, Вам трудно и тяжело, но Вы справитесь и найдете себя... Вы с дружеским полуупреком напоминаете мне мои слова, что «надо развиваться за свой счет». Ведь это же значило не то, что надо замыкаться от людей или не любить их, или погрозывать, но что нельзя свою душу всецело вверять в человеческие руки,— в данном случае все равно, З. Н-ны или М. А-ча¹, а я тогда опасался, что Вы ее вверяете или вверили. Ведь у нас могут быть и неизбежно есть — очень крепкие личные привязанности, эти корни нашей жизни,— я только что испытал, как много моей души и жизни в улыбке и здоровье ребенка, можно иметь жену, друга, брата, мать, но это все не то, что мне, м. б., и неверно, почудилось и заставило беспокоиться за Вас. Из Вашего письма я все-таки не вполне улавливаю себе все, что с Вами за это время после моего отъезда произошло, но вижу, что в Вашей душе что-то сломлено и болит. Вы ищете причину и виноватых, б. м., и неверно, Вас окружающих (мне бы хотелось заступиться за М. А., но лучше воздержусь), и не только лиц, но и идеи, и «православие»... Но разве справедливо это, что Церковь так обесценивает жизнь, как это пишете Вы? Что все вопросы, все жизненные функции усложняются, теряют свою языческую непосредственность, что требовательность к себе повышается, это правда, но это принадлежность всякого более углубленного сознания, свет кладет и тени и, как я постоянно повторяю и себе, и другим, нельзя насильственно упрощать задачи... И, затем, надо, конечно, различать простоту и опрощение, высоко ценя первую, можно невысоко ценить вторую, и не принимаете ли Вы за простоту опрощение, которым может иногда, скорее в шутку или в парадокс, пугнуть и Волжский, и М. Ал. Но Вы правы в том, что при особом лично-напряженном чувстве Бога, составляющем удел избранных и делающем их, если можно с такой грубостью выразиться, специалистами святости и, внешний «мир» (т. е. и наука, и милая суета, и исполнимость житейская) обесценивается, но ведь это и радостно, и легко тогда... Ведь это путь Серафима, Франциска...

Впрочем, все Вы это и сами знаете, и я чувствую, что начинаю говорить прописными и апологией. Между тем важно в религиозной жизни не рассуждать, а найти в себе и носить этот родник гармонии, легкости, светлости... Если бы мне это дано было с такой простотой, как Вам, или по-своему и иному М. А-чу, то, вероятно, и раньше я мог бы оказать Вам и более реальную поддержку, но и во мне этого нет или бывает только моментами. Поэтому противоречия в душе Вашей я чувствую и понимаю, мне кажется, правильно, но потому, что некоторые из них не личного, а общего характера, ношу в себе, вынашиваю и не знаю, как выношу. Но знаю одно, не верхним, поверхностным слоем души (тем, где интеллект, научность, «новое религиозное сознание» и проч.), но самым глубоким, незабываемым и недоступным для зыбей, тем, где лежит уже изначальная детскость души моей, как она вышла от Бога, что Церковь в ней это абсолютная и неподвижная точка и в нее и помимо нее нет пути ко Христу. Так это со мною. Это не догматика и не миссионерство, а опыт. И, кажется мне, эту точку я буду ощущать и на нее опираться в страшный час смерти-рождения... Когда я начал писать, и не думал, что заговорю об этом, но раз вышло, пусть останется, иначе у меня будет чувство, что я не сказал Вам чего-то важного и нужного, что должен был сказать. А во втором и вышних этажах и наука, и милая суета жизни, и ее пестрый водоворот.

Прощайте пока, дорогая Мариэтта Сергеевна! Пронеси Бог эту душевную бурю и возврати Вам прежний свет, ясность и радость, даже хотя бы не скоро! Я же очень крепко на это надеюсь.

Я вообще плохо, лениво и коротко пишу письма, но Вы все-таки не считайтесь и время от времени оповещайте о себе.

Сердечно Ваш С. Булгаков.

¹ С. Н. Булгаков имеет в виду Зинаиду Николаевну Гиппиус и Михаила Александровича Новоселова.

Уж не помню, это ли письмо эмоционально наиболее близкого мне человека из группы Новоселова укрепило мое неожиданное отречение. Оно, во всяком случае, заставило задуматься. Понимание «церкви» как единственного пути, которым можно прийти к Христу! Фраза, надолго осветившая для меня почти два тысячелетия, в течение которых складывалась и каменела церковь, начавшаяся — ведь этого топором не вырубить — с ренегатства. Апостол Петр, ставший тем «камнем», на котором она заложена, не трижды ли перед этим отрекся от Христа? И вот ренегатство, предательство взяло себе монополию на того, от кого оно трижды отреклось. Монополию, догмат собственности, незыблемое право: прийти ко Христу — понять и принять его — можно только через церковь. А секты рвались к самостоятельному пониманию Евангелия, рвались из церкви...

— А ты ни с того ни с сего рвешься туда, где окончательно убьют лучшие твои качества, самостоятельность мысли и чувства,— закончила Лина разговор, начатый нами вечером...

На некоторое время мысли мои заняло понятие «ренегатства». В нем был политический и моральный смысл, оно затрагивало сразу две главные силы в человеке — убеждение и веру. С ним соседствовало «предательство», тоже очень страшное слово. Все эти люди, группа Новоселова, с которыми я против воли сдружилась,— все они были отреченцами, Бердяев от марксизма перешел в православие, Булгаков от марксизма перешел в идеализм, а оттуда в православную церковь, Флоренский — блестящий математик — из «чистой науки» в церковную догматику. Почему? Что их влекло? Чем они стали заниматься, бросив свою прежнюю деятельность? Если перечитать все цитаты из восточных «Отцов церкви», присланные мне Новоселовым (а сводились все они, в сущности, к Исааку Сириянину с его «смердным морем» жизни и «гребцами страха», самого гнусного состояния души человеческой, страха, принявшего не подобающий ему эпитет, — страха божьего), то занимались новоселовцы спасением своей души.

Я стала серьезно исследовать эту странную форму человеческой деятельности. Родился человек на свет и выбрал себе занятие: всю данную ему на короткий срок жизнь потратить на спасение своей души. Душа — что это такое? Заключена ли она в теле, как, скажем, глист или бактерии в кишках, или она выражает собой тело, оживает, олицетворяет его потребности в еде, питье, сне, движении, работе, отдыхе, любви, привязанности, заботе о дорогих ему близких и себе подобных? Душа — не связана ли она чувством с волей, с характером, с мыслями, с опытом, с пониманием о добре и зле, о полезном и вредном, о правдивом и лживом, с тем живым комочком внутри человека, так прочно связанным с биением его сердца,— с совестью? Совесть как суд над собой, как стимул вечной деятельности, вечного стремления к истине. И тут я опять реально почувствовала, что «душа» отцов церкви Макария Египетского и Исаака Сириянина — это совсем не то. Их душа, спасая себя, должна глушить, доводить до минимума, опорочивать, превращать в грех все свои потребности, хотя бы на йоту превышающие копеечный минимум... Да нет, что там минимум! Каждое движение воли или чувства может вести к греху, а грех — это гибель в смердном море. Значит, спасение души — бездействовать, убивать чувства и мысли за исключением «божественных». И опять же можно довести свою душу до автоматизма, до отказа от всяких мыслей. Новоселов советовал мне: «Лучшая гигиена души — ни о чем не думайте, ходите по дорожке и повторяйте про себя «Господи помилуй, Господи помилуй»... Вы увидите, как легко станет, какое бремя с плеч снимете!» Но стоит ли спасать пустое

место? Кому нужна такая пустопорожняя душа и для кого и чего она годится? Это как чайник, поставленный на огонь без воды,— развалится от жары, уронит свой носик в огонь, покоробится, искорежится — выбросить его в мусорное ведро.

Так я «аналитически» терзала себя, и читатель, должно быть, думает: какими странными пустяками занята была образованная студентка в 1908 году, может ли это быть? Я отвечаю читателю.

Пусть он представит себе май в Лондоне в том же году — лучший месяц в этом городе дыма и тумана. Человек с родными чертами лица, любимый всеми трудящимися нашей планеты, самый лучший, самый великий сын человечества, сидит в круглом зале лондонского Ридинг-Рума, читает, читает, делает выписки. Он работает над книгой «Материализм и эмпириокритицизм». Сентябрь того же года: он пишет предисловие к той же книге. Октябрь того же года: он общается своей сестре, Анне Ильиничне, что закончил книгу, и просит дать ему конспиративный адрес для отправки ее в Россию. Ноябрь того же года: он посылает рукопись «Материализма и эмпириокритицизма» в Россию для ее легального издания... Так неужели же можно представить себе создание этого глубокого, важнейшего труда лишь потому только, что Богданов и Луначарский увлеклись «богостроительством» и «богоискательством»? Лишь для того только, чтоб остеречь двух-трех членов партии? Писателя Горького?

Был другой человек. Он жил в России, сидел в Ясной Поляне. К нему приезжал в гости пианист А. Б. Гольденвейзер, сохранивший в своем дневнике драгоценные мысли яснополянца. За шесть лет до вышеописанного, под датой 16 ноября 1902 года, Гольденвейзер написал:

«Лев Николаевич сказал:

— За шестьдесят лет моей сознательной жизни у нас в России, я говорю о так называемом образованном обществе, произошла удивительная перемена в отношении религиозных вопросов; религиозные убеждения как бы дифференцировались, это нехорошее слово, но я не знаю, как выразить иначе. В моей молодости были три или, вернее, четыре категории, на которые можно было разделить в этом отношении общество: первая — очень небольшая группа — люди очень религиозные, бывшие еще раньше масонами, иногда шедшие в монахи; вторая — процентов семьдесят — люди, исполнявшие по привычке церковные обряды, но в душе совершенно равнодушные к религиозным вопросам. Третья группа — люди неверующие, официально исполнявшие обряды в случае необходимости, и, наконец, четвертая — вольтерьянцы, люди неверующие и открыто, смело высказывающие свое неверие. Таких было мало, процента два-три. Теперь же не знаешь, где что встретишь. Рядом можно натолкнуться на самые разнообразные убеждения. За последнее время появились еще новые — декаденты православные, вроде Мережковского, Розанова. Очень многих привлекало к православию хомяковское определение православной церкви как собрания людей, соединенных любовью. Чего же, подумаешь, лучше? Но дело в том, что это произвольная подстановка одного понятия под другое. Почему именно православная церковь является таким соединенным любовью собранием людей? Скорее наоборот»².

Толстой заметил (и предчувствовал) не только подъем религиозности в «так называемом образованном обществе» — он увидел направленность этого чувства к православию. Но православие, новая одержимость «декадентов», еще до революции 1905 года, определи-

² А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М. Гослитиздат. 1959, стр. 122—123.

лось для него в какой-то связи с Хомяковым, то есть с открытой реакцией русской интеллигенции в сторону славянофильства, древней Руси, царя-батюшки — знаменитой троицы Самодержавия, Православия и Народности. А после революции религиозное движение расширилось, оно захватило верхушку рабочего класса, писателей, известных под именем декадентов, но захватило по-разному. Одних — с примесью допетровского национализма, лампадного православия, церкви как спасительницы душ, собирания, увода их в бездействие, в спасающую от греха пассивность при помощи «страха божия». Других — вневременно и внеисторично, с мистическим ощущением церкви как чего-то нематериального, «града господня», связующего души невидимой связью. Третьих — реально строящих у себя свою, домашнюю церковь с молитвами и причастием, церковь, желающую быть близкой с революцией, со «святым террором», новым походом крестоносцев на самодержавие, чему Гишпиус обучала в Париже своего ученика (названного так ею в письме ко мне), Бориса Савинкова. И еще всякое другое, и сексуальная, старческая болтовня В. Розанова, которую даже очень большие его поклонники не всегда могли вытерпеть не только на бумаге (он печатал просто невыносимые вещи), а и в личном с ним общении³. Вот такая мутная волна захлестывала часть интеллигенции в годы 1908—1910—1914, — и навстречу этой губительной волне, приучавшей к пассивности, к тому, что названо «опиумом для народа», что уводит человека от его простого общественного долга на земле, вставала резкая трезвость очередного труда Ленина, издавека, из-за границы, ясным взором пронизывавшего родную ему Россию. Не только Богдановы, Луначарские — почти вся интеллигенция, с зараженными пятнами на лице, с растущей заразой в различных кругах, в проявлениях общественной жизни, была видна и понятна ему, и он ковал орудие, замешивал лекарство не против двух-трех заболевших, но против большой заразительной эпидемии.

А что он видел эту эпидемию — знали его соратники, знаем сейчас и мы, если внимательно читаем даты его трудов и выступлений. В Париже на редакционном совещании газеты «Пролетарий» 1 февраля 1909 года он требует от редакции открытого высказывания против «богостроительства» Луначарского, а 13 мая того же года помещает в ней статью «Об отношении рабочей партии к религии». Вторая фраза в этой статье, фраза-остережение, показывает, как глубоко и ясно представлял себе Ленин религиозную «эпидемию» в России:

«Интерес ко всему, что связано с религией, несомненно, охватил ныне широкие круги «общества» и проник в ряды интеллигенции, близкой к рабочему движению, а также в известные рабочие круги»...⁴.

Видел Ленин из своего далека не только растущую эпидемию религиозности, он видел и трагическую фигуру одинокого яснополянского старца, по-своему противостоявшего ей, и видел глубоко, не так, как мы, тогдашняя молодежь, а словно предчувствуя могучий конец Толстого, свершившийся через два года. Замечательно, что именно в 1908-м, за два года до Астапова, 11 сентября старого стиля, появилась и статья Ленина «Лев Толстой, как зеркало русской революции», в № 35 того же «Пролетария».

Почему я пишу: «не так, как мы, тогдашняя молодежь»? Каюсь, — я знала эту молодежь, и сама была живой ее частью, — мы не

³ В советской философской энциклопедии Розанов назван... философом.

⁴ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 415. (Подчеркнуто мною. — М. Ш.)

видели, никак не могли видеть в упрямом и раздвоенном яснополянском старике «зеркало русской революции». Те, кто пишет историю литературы, почти сплошь передают ее со своего, сидячего, за столом, места. Они, например, мало или совсем не чувствуют атмосферу симпатий и антипатий, скаду критических оценок, скрытые за этими оценками общественные силы и, наконец, постоянно действующий в социальной жизни, но почти не принимаемый во внимание историками периодический закон общественной утомляемости. Страшно подводит этот закон не только добросовестных историков, но и художников, писателей, кинематографистов, драматургов. Один великий Шекспир, кажется, сумел отразить его в своем «Короле Лире».

Умирают великий поэт, огромный писатель, популярный актер, а для современников, потрясенных, конечно, этой смертью на минуту-другую, живет в памяти их затянувшаяся перед смертью старость, их одряхлевшее за десятки лет тело, их помраченный ум, — или та обычная пауза, как было при жизни Пушкина, когда явление стало привычным, а гений... надоед публике затянувшимся бытием, которое кажется неподвижным, повторяющим себя.

Страшно это писать, но надо написать. Толстой своим «непротивлением злу», своим толстовством, всей ни во что не разрешающей, затянувшейся яснополянской двойственностью убеждения и быта для части студенчества был уже до того привычным явлением, что начал «надоедать»; и мы, молодежь, за вычетом активных толстовцев почти уже социально не воспринимали его, а иногда и попросту не учитывали в общей тогдашней панораме «современной русской литературы». И даже последний разрешающий — как кода и заключительное трезвучие в классической симфонии — акт этой великой жизни, уход немощного, страдавшего старца из Ясной Поляны в предрассветную ночь, в придвинувшуюся даль, вплоть до смертного часа на безвестной дотоле железнодорожной станции, не остановил биение наших сердец настолько, чтоб почувствовать глубокий укол сознания.

Мы тогда ничего не знали, кроме газетных телеграмм и случайных разговоров через вторые и третьи руки. Все же одно мы должны были бы знать и понять, хотя бы только одно, напечатанное в газете: «Весь мир сейчас прикован к тому, что совершается в Астапове». Мы должны были понять через эту фразу, как тесно связано личное бытие человека с бытием миллионов других людей, населяющих землю. Миллионы жили, могли жить той же двойственностью сознания и быта, той же пропастью между велением своей совести и привычкой, цепями держащей тело в обратном этой совести направлении; миллионы жили или могли жить вот так — а он, один за всех, искупая, разрешая, сводя к духовной гармонии разногласие и фальшивость жизни, за них за всех встал, взял посох и ушел от фальши в Астапово, разорвав стреножившие его пути двойственности. Мы, молодежь, должны бы именно тогда, в часы бодрствования на станции Астапово, пережить и понять это, но мы — я так хорошо помню свое окружение и себя в этот день — ничего этого не поняли, а пережили только горькую дату смерти — 7 ноября, по старому стилю, 1910 года — великого писателя Льва Толстого.

Я пережила Астапово по-настоящему только сейчас, перечтя для своей третьей книги «Воспоминаний» знакомую статью Ильича и передумав ее вместе с теми фактами шестидесятилетней давности, какие еще держатся в памяти. Перечла — и вдруг потянуло меня на Толстого, не того, кто создал «Войну и мир», «Анну Каренину», а старого Толстого, создателя «толстовства». Столько сейчас интереснейших книг его секретарей, врачей, друзей появилось в помощь ис-

следователю! Вышла великолепная работа Б. Мейлаха «Уход и смерть Льва Толстого» (Гослитиздат. М.—Л. 1960). Опубликованы дневники Толстого, можно заглянуть в интимную духовную жизнь того, кто стал нашей «привычкой» шестьдесят лет назад, а сейчас как бы вновь открывается для познания. Уже взялись за перья и сами писатели, по-разному его увидевшие,— Виктор Шкловский, интересный молдавский писатель Друцэ... Жадно — еще потому жадно, что на больничной койке, болея несколько месяцев,— проглотила я сперва повесть Друцэ, в высоком музыкальном ключе написанную, потом Мейлаха; секретаря Толстого Булгакова; Гольденвейзера; и — наконец — «Дневники» самого Толстого, сухие дневники, лишенные литературного «мяса», но, как сказали бы современные технократы, сугубо информационные. И тут вдруг...

9

Сколько раз в жизни насканивало у меня прошлое, казалось бы, давно пережитое, на сегодняшний и даже на завтрашний день! И есть ли у Времени эти вчера, сегодня, завтра? Не похоже ли само Время на человека: младенца, ребенка, юношу, взрослого, старца, совсем разных и во внешнем облике и во внутреннем содержании, а ведь все одного и того же, всегда единственного, равного себе, единосущного, сколько ни считай по пальцам, все одного и того же человека!

Шестьдесят четыре года назад, как петух в меловом кругу замкнутая от мира влиянием Новоселова и новоселовскими цитатами из восточных «Отцов церкви», я совершенно ничего не знала и так и не успела узнать, кто же такой был сам Михаил Александрович Новоселов, откуда вышел, где пребывал, что испытал,—годами он был более чем вдвое старше меня. Спросить об этом у окружавших его людей — С. Н. Булгакова или Волжского, Кожевникова, Флоренского, о которых я сразу же узнала, чем они раньше были,—не то что не догадывалась — считала неловким. Так и прошло это наваждение Новоселовым — а он остался для меня «круглым лицом без черт», как страшный «безлицый» в «Земляничной поляне». И вдруг — спустя шестьдесят четыре года, когда началось мое чтение о Толстом, — Новоселов вышел из небытия, оказался лицом вполне историческим, с реальной биографией.

Внимательно читая Мейлаха, с карандашом в руке, я натолкнулась на две цитаты. Дважды — весомо и важно — упоминает Мейлах имя и фамилию Новоселова в связи с Толстым. Еще до моего появления на свет божий Новоселов студентом-филологом (1886) побывал в Ясной Поляне как самый рьяный толстовец. Неизвестно, с разрешения ли Толстого или без оно — рассказ оставляет это под сомнением (в старых журналах: «Минувшие годы», 1908, № 9 и «Былое», 1918, № 9), Новоселов взял у Льва Николаевича рукопись «Николай Палкин», размножил ее на гектографе и стал распространять, за что и был арестован.

Итак, он начал с того, что сделался толстовцем, будучи еще студентом, позднее — уже учителем, и вдобавок толстовцем, отважившимся гектографировать антиправительственное сочинение. Дальше, правда, биография Новоселова несколько теряет в своем качестве. На сцене появляется его мать. Потрясенная арестом «Мишеньки», она кидается сперва к «властям предержащим», потом к Толстому с увереньями, что рукопись была гектографирована по указанию самого Льва Николаевича и с мольбой к последнему «поддержать ее слова». Толстой сперва обещал «поддержать», но потом сказал, что ничего не знает и размножать антиправительственные вещи не в его

принципах (отсюда и «сомнение», сопровождающее в печати всю эту историю...).

Значит, Новоселов был толстовцем, даже «пострадавшим» толстовцем, но, видимо, сильно испугавшимся ареста. А как сам Толстой относился к нему? В «Дневниках» Льва Николаевича имя Новоселова упоминается восемь раз: в томе 19-м, охватывающем годы 1847—1894, причем восьмой раз — в примечаниях; а в томе 20-м, завершающем, — лишь в списке имен⁵. Краткие упоминания говорят об изменяющемся отношении Толстого, сперва положительном, потом резко отрицательном. 7 декабря 1888 года Толстой настроен самокритично и сумрачно: заболел его сын Миша и ему совестно приглашать десятирублевых врачей, в то время как крестьянские дети мрут вокруг без всякой помощи. В этот день у Толстых много народу. Толстой записывает: «...Всё не уживаются люди: Джунковский с Хилковым, Чертков с Озмидовым и Залюбовским, Спенглеры муж с женой, Марья Александровна с Чертковым, Новоселов с Первыми». Новоселов попадает в число неуживчивых. Через два года Лев Николаевич, чувствуя себя слабым, пишет (14 октября 1890 года): «Доброе письмо от Новоселова. Много надо ответить писем». Еще через год он опять болен, и опять, слабый от болезни, — «здоровье чуть держится», — он рад приезду Новоселова: «...Потом был Новоселов с Гастевым, тоже оба оставили очень приятное впечатление» (запись от 13 сентября 1891 года).

Наступает в России голод. Лев Николаевич с друзьями-толстовцами открывает в Бегичевке столовую, с ним работают и Новоселов с Гастевым. Толстой счастлив — спокойно в семье, он в мирных отношениях с Софьей Андреевной. Четвертая запись от 18—19 декабря 1891 года: «Здесь работа идет большая. Загорается и в других местах России. Хороших людей много... С нами Новоселов, Гастев...» Помощники Толстого работали на голоде в соседних деревнях и собирались в Бегичевку отчитываться по воскресеньям. Толстой так и называет их «воскресными». Восторженное состояние первых месяцев начинает у него проходить. 24 февраля 1892 года он записывает в дневник: «Здесь работы много и тяжести. Чем дальше жить, то мне труднее... Уехали сбиравшиеся воскресные: Гастев, Алехин, Новоселов, Страхов...» В семье Толстого приверженных ему толстовцев звали «темными». Не все в Бегичевке протекало гладко, и не всегда «темные» были в полном согласии между собой. Уже через пять дней, 29 февраля, когда опять приехали «темные», Толстой записывает коротко: «Мне тяжело от них».

С Толстым на голоде работала В. М. Величкина, издавшая об этом книжку. Она рассказывает: «Среди сторонников учения Льва Николаевича и его близких учеников начинался тогда серьезный раскол. Одни продолжали оставаться на его точке зрения; другие, как Аркадий Алехин и Михаил Новоселов, уходили в мистицизм и возвращались в православие... Лев Николаевич волновался иногда и долго после повторял: «Ах, какой ужас... Так ведь один шаг только до настоящего поповства»⁶. Но они всё еще видятся. Новоселов продолжает приезжать в Ясную Поляну. Толстой записывает 26 мая 1892 года: «Тя же

⁵ Л. Н. Толстой. Собрание сочинений в 20-ти томах. М. «Художественная литература». 1965. Т. 19, стр. 346, 438, 465, 469, 471, 472, 511, 611 (примечание); т. 20, стр. 619, список имен.

⁶ Вера Величкина. В голодный год с Львом Толстым. М.—Л. 1928, стр. 93.

лое больше, чем когда-нибудь, отношение с темными, с Алехиным, Новоселовым, Скороходовым. Ребячество и тщеславие христианства и мало искренности». Тщеславие христианства! Это относится у Толстого явным образом к церкви, к привкусу православия. А между тем Софья Андреевна радуется, что толстовцы возвращаются назад, к православию. Едва ли не самая характерная для отношений ее с мужем запись Толстого спустя два года, от 8 октября 1894: «...целый день и вечером она постаралась опять сделать мне радостным гонение. Целый день: то яблони украденные и острог бабе, то осуждения того, что мне дорого, то радость, что Новоселов перешел в православие...»

Эта запись так по-толстовски замаскированно-трагична, что ее надо расшифровать. День за днем Софья Андреевна колет его своими замечаниями. Для Толстого ее «гонение» — это испытание его нравственных сил, проба непротивления злу, радость подставления второй щеки: гони, мучай, коли иглами, — тем радостней переносить, перестрадать, терпеть мученичество. Но как и чем она изводит мужа, в чем это гонение? В сознательном говорении невыносимых для Толстого вещей: баба украла (посадочные) яблони — я ее в острог засажу! — похвала тому, кто наносит сердечную боль Толстому, похвала и радование на неприятность для мужа, утрату им преданного, казалось бы, ученика: слава богу, Новоселов вернулся на путь истинный, в православие!..

Знаю, что этот последовательный перечень утомителен для читателя, как страничка литературоведа. Но я должна его привести, потому что он, этот перечень, подводит к возможному факту уже из биографии не только Новоселова, но и Льва Толстого, факту, до сих пор как будто не замеченному. Б. Мейлах подробно рассказывает, как ушел перед смертью Толстой из Ясной Поляны, — ушел в жизнь, свободную от семейных пут. До ухода начал писать статью о социализме. После ухода, заехав к монахине-сестре, чтоб навестить ее, нашел у сестры статью В. Кожевникова, с которым я за год до этого общалась, живого и угрюмого члена кружка Новоселова. Толстой, думавший очень напряженно над темой взаимоотношения революции и религии и относившийся к социализму хотя и без особой симпатии и понимания, но с явным интересом, прочитал статью Кожевникова. Он думал, быть может, найти что-то новое в этой литературе, разрешение вопроса о справедливости, о создании лучшей жизни для народа, без того, чтоб прибегнуть к насилию, мало ли? И за неделю до своей смерти попросил доктора Маковицкого (сопровождавшего Толстого в этой последней поездке) написать «письмо Новоселову с просьбой прислать все издания его «Религиозно-философской библиотеки»⁷. Не знаю, успел ли Новоселов прислать умирающему Толстому все эти брошюры о Макарии Египетском, Исааке Сирийяине, Филарете, Льве Тихомирове и иже с ними. Вряд ли, если только между Шамордином и Москвой не была к тому времени подготовлена курьерская связь. Какой тщеславной могла быть идея у Новоселова, если Маковицкий действительно написал ему, вернуть великого писателя Льва Толстого в «лоно матери-церкви»? По тогдашнему настроению Новоселова, это вознесло бы его среди православной паствы, в глазах митрополита, в глазах царя и самодержавия! Страшно читать у Мейлаха сведения о том, как готовилась церковь помпезно инсценировать «раскаяние и примирение

⁷ Б. Мейлах. Уход и смерть Льва Толстого, стр. 286.

Толстого с православием», — Новоселов мог играть в этой сорвавшейся инсценировке свою ползучую роль...

Сохранилась фотография⁸: Софья Андреевна, спиной к зрителю, припала к окошку железнодорожного домика в Астапове, вглядываясь через стекло в уже обеспамятовавшего, уходящего от всех «посягательств» и «гонений» старца. Эта уцелевшая фотография во всем ее трагическом смысле понятна и открыта простому глазу. За окном тот, кто ушел от несправедливой, несправедливой барской жизни, отказался от частной собственности, не допустил до себя в смертный час ни церкви, освящающей эту собственность, ни жены. А к окну припала та, что отстаивала для семьи частную собственность, барскую жизнь, власть над душой и совестью мужа — и не может войти к нему, разбить окно. Наверное, в этот час, если б «сверхскоростной звук» существовал для человеческого слуха и облегченный вздох всего лучшего и передового на земле мог бы в этот сверхскоростной звук влиться, — мы услышали бы, как облегченно вздохнуло человечество: устоял, выдержал, не допустил!

Шестнадцать лет прошло с тех пор, как Софья Андреевна высказала Толстому свою торжествующую радость (радостное гонение!) по поводу перехода Новоселова из толстовства в православие. Быть может, у смертного часа Толстого она — не без помощи Новоселова — еще надеялась вернуть мужа — себе и церкви. Быть может, и сам Новоселов тут со своими брошюрками в портфеле, среди публики, понаехавшей в Астапово.

Все это ново для исследователя, как оживший образ Новоселова. Всего этого я не знала ни в год смерти Толстого, ни за год до нее, когда сама — трусливо, по-детски, на восторженное послание Новоселова «Молитесь за меня», как страус, спрятав голову под крыло, а попросту порвав всякую связь и с Новоселовым и с новоселовщиной, не написав ему, не простившись с ним, — уехала из Москвы в Нахичевань к матери. Фальшивая полуреальность — какую сама же пассивно и с неохотой, но допустила в свою жизнь, — закончилась, в сущности, так же фальшиво и нереально, как и вхождение в нее.

Нельзя стереть этот многомесячный опыт из собственной жизни, сделать, как если б его не было, или хотя бы облагородить в своих воспоминаниях. Он не принес мне чести, и оправдать его трудно. Могу только сказать одно: как и ото всего, что приключалось со мной в жизни вольно или невольно, я не переставала учиться у своих ошибок, а поэтому получала уроки.

Большим и нужным уроком для будущего стали прежде всего мои бесконечные чтения по теологии. Для того чтоб лучше понять действительность, и притом не вообще, а именно русскую нашу действительность, огромную пользу принесло мне хорошее знание истории церкви, истории православия, знакомство с практикой православного «старчества», с восточными отцами церкви. И даже старый «церковнославянский» язык с неожиданными попытками его модернизации в XX веке у некоторых писателей тоже принес мне кусочек пользы, как в свое время и средневековая латынь.

Мне остается досказать читателю про шестую «ниточку» сложного клубка, пришедшегося на конец 1908 — середину 1909 года.

Как-то вечером в Литературно-художественном кружке я впервые увидела модного поэта, о котором нам много и хорошо рассказы-

⁸ Приведена в кн.: Б. Мейлах. Уход и смерть Льва Толстого, стр. 288.